

XXXVI

Ликуйте, земля и небо: сегодня ко мне придет Зоя!..

— Сколько времени, мама?

— Десять било.

— Давно?

— Только сейчас пробило. Неужели не слыхал?

— Странно, не слыхал. А может быть, одиннадцать?

— Десять. Рано спустил ноги: устанешь. Она приедет в одиннадцать.

— Еще час. Целый час!

Не знаю, что делать. Разрешили смотреть в старой «Ниве» картинки, да надоели эти картинки. Рассматриваю в пятый раз. Буду разгадывать ребусы. Устают руки держать тяжелую книгу: этой книгой можно убить читателя. Трясутся еще от слабости руки... Устаешь... Пожалуй, лучше пока полежать.

— Мама, возьми эту пудовую книгу.

— Вот видишь! Говорила тебе: рано сел.

Лежу во всем чистом, волосы рассыпались по подушке, одеяло лежит ровно и красиво; руки наверху, на одеяле, белые, с длинными кистями. Слушаю, как стучают в коридоре стенные часы, как за окном поют птицы, как свистят на Волге пароходы, как время от времени трещат где-то близко извозчицы пролетки. Пугают эти пролетки: все кажется, что кто-то подъехал к больнице, что этот «кто-то» — Зоя; вздрогнешь, сядешь в

кровати и насторожишься. А сердце застучит громко и неровно.

— Ты что?

— Погоди, кто-то подъехал... Нет, показалося...

— Да ведь мимо не проедет. Чего же так беспокоиться!

Уф, даже в жар бросило...

— Мама, дай мне чистый носовой платок!.. И гребенку.

Какая, однако, шевелюра выросла. Хорошо, если бы волосы вились большими волнами, как у Калер... Ну ее к лешему! Покраснел, отбросил зеркало... Святотатством казалось самое произнесение этого имени... Словно грязнил чем-то свой светлый праздник...

— Мама, теперь уже не христосуются?

— Вот тебе раз! Шесть недель христосуются. Что ты, татарин, что ли?

— Забыл. Едет, едет... Она, мама... Зоя!.. Чувствую, чувствую...

— Да погоди...

Мама идет к окну. Протяжно бьют где-то часы одиннадцать.

— Одиннадцать!.. Она!..

— Да, она... Пойду встретить...

Мать вышла из палаты. Что делать?.. Лечь или сидеть?.. Господи, что это со мной! То жарко, пахнет лицо огонь, то холодно, так холодно, что стучат зубы... Забыл сегодня почистить зубы... Опять звонят в ушах стеклянными молоточками. Лучше

лечь... Нет сил сидеть и ждать... Лег лицом к двери и жду в огне и трепете. Идут! Идут!..

— Можно? — прозвучал за дверью голос и ударил меня прямо в сердце.

— Можно, можно... Зоя!

Распахнулась дверь, и на пороге приостановилась стройная, высокая девушка вся в белом, в пастушеской соломенной шляпе с загнутой голубенькой вуалеткой с синими васильками и бело-желтыми ромашками, под шляпой тяжелая гряда золотых волос, в одной руке перчатки и кружевной зонтик, в другой — куст белой сирени... Словно сама весна в ослепительном сиянии вошла с цветами родных полей и садов.

— Зоя! — прошептал я упавшим, не своим голосом, сел в постели и протянул к девушке руки.

Вспыхнуло розами милое лицо, схватилась милая рука за грудь опрокинулась голова...

— Иди же, голубка!..

Рванулась от двери упала на колени около постели и, спрятав свою голову у меня на груди стала смеяться и плакать...

— Да погоди же дай мне посмотреть на тебя...

Я хотел откинуть ее голову, а она не давалась и продолжала плакать. Я вытащил колючую булавку, сбросил шляпу с васильками и потонул губами в мягком, душистом и щекочущем золоте волос... А куст белой сирени валялся на полу и источал одуряющий аромат...

— Милый, милый... Я уже думала, что никогда... никогда больше не увижу!..

Кто-то сердито покашлял у двери. Зоя поднялась на ноги и, отскочив к окну, отвернулась и застыла в неподвижности.

— Ах, это ты, мама...

— Я... Сирень-то что бросила?.. В воду ее надо...

Пошла искать посуду для сирени.

— Зоя!.. Она ушла... Да погляди же на меня!..



— стыдно... Знаешь, папа уже согласился... А было раньше хуже тюрьмы... Я тебя ужасно люблю... Но доктор говорит, что тебе нельзя скоро жениться...

— Повернись же ко мне, Христа ради!.. Христос воскрес!.. Ты, мама?

— Я.

— Убеди Зою, что теперь еще христосуются!..

— Поди, сама знает. Не татарка...

— Вот слышишь, Зоя!.. Христос воскрес!..

Обернулась, вся пунцовая подошла ко мне, наклонилась, опустила глаза:

— Ну, воистину воскрес!..

И чуть-чуть коснулась губами моих губ. И снова отвернулась.

— Если ты не будешь на меня смотреть, я рассержусь... Слышишь?

Улыбнулась, вскинула на меня глаза и села на стул у постели. Я пожирал ее глазами... Похудела, но стала еще прекраснее. Прямо изумительная, поразительная красота!.. Неужели она, эта самая девушка, будет скоро моей женой? Невероятно!..

— Посмотри же на меня!

— Я, Зоя, немного устал... Извини, я немного полежу...

— Конечно, голубчик!.. Меня не стесняйся, а то... не буду...

— Ну, чего не буду? Любить?..

Громко засмеялась, ударила белой шелковой перчаткой по руке и сказала, блеснув синими глазами:

— Ходить не буду, а не «любить»...

— А любить будешь?

Кинула взор на мать и, обернувшись ко мне, кивнула глазами... Ах, как передать это мимолетное движение прекрасных глаз? Нельзя передать: нет таких слов у человека. Вот если бы в черную ночь с черными ползущими тучами вдруг на одно только мгновение раскрылся кусочек синего неба и в это окошечко на одно же мгновение выглянуло все солнце!.. Нет, не то... Солнце не пряталось:

оно сидело рядом на стуле, и не было никаких туч, а было все синее, и белое, и золотое... Только белое, синее и золотое.

— Ты похудела...

— И... подурнела...

— Ты? Какая ложь!.. Ты прекраснее всех ангелов на небе.

— Вот уж это, господа, грех... Ангелов-то уж не надо трогать...

— Ты, мама, смешная... Ей-богу, ты смешная!..

— Нет, я сильно подурнела, Геня...

— Неправда!.. На вот волшебное зеркальце и спроси: «Я ль на свете всех белей, всех румяней и умней?..» И оно тебе скажет, что — ты!.. Ах, Зойка... Съел бы я тебя!..

Мать расхохоталась и сказала:

— Еще долго, брат, на диете просидишь... Не рассчитывай!.. Вон доктор идет...

— Ну-с... Счастливы? Только не так близко... Температура?

— 37,2.

— Желудок?..

Мы с Зоей отвернулись друг от друга. Черт бы его взял, этого доктора, с глупыми, неуместными вопросами!..

— Все, решительно все хорошо... Ничего не надо, нигде не болит... Я совершенно здоров... И очень счастлив!..

— А все-таки продолжительное волнение преждевременно. Сколько времени продолжается ваше счастье, то есть свидание?

— Я только сейчас пришла. Ровно в одиннадцать.

— А сейчас, барышня, уже полчаса двенадцатого...

— Как так?.. Не может этого быть!.. Я только сейчас...

— Сейчас... В часу шестьдесят минут. Для первого знакомства достаточно...

— Ну, доктор!..

— Доктор!..

— Не могу-с. Сегодня надо было всего десять минут, а завтра... Впрочем, завтра неприятный день. Придете послезавтра. А теперь прощайтесь!

Мы грустно переглянулись и стали в два голоса упрашивать, чтобы и завтра нам разрешили повидаться...

— Хоть на десять минут!

— Нет, на двадцать. Христа ради!..

— Гм... Откуда вы сирени достали?.. Так рано...

Зоя подразнила:

— Разрешите мне завтра прийти с сиренью... для вас!

— Ах, вы!.. Что с вами сделаешь?.. Ну уж неси-те взятку, так и быть.

— Мерси, доктор!

— А теперь пора... А то и завтра нельзя...

— Ухожу, ухожу... Моментально ухожу... Надеваю уже шляпку.

Доктор поклонился и ушел. Зоя растерянно ходила по комнате.

— Куда же я дела булавку от шляпы?.. Потерялась... Ты не видал, Геня?

— Булавку?.. Нет, не видал...

— Эх, вы... и булавки все растеряли...

Обе, и мама, и Зоя, ищут булавку. Ах, Зойка, какая она хитренькая!.. Выбрала момент, когда мама нас не видит, быстро скользнула к кровати, наклонилась, поцеловала меня и, поднявшись с булавкой в руке, сказала радостным голоском:

— Мерси, не трудитесь. Я нашла...

А сама пунцовая и не смотрит на меня. Какая хитренькая... Вот не думал!.. Умница! Люблю. Безумно люблю!

— Как идет к тебе эта шляпа!

— Разве?

— Нарядная ты... модница...

— Для тебя!.. Все только для тебя... Боюсь, что разлюбил...

Пожала руку матери, послала мне воздушный поцелуй и выпорхнула, сверкнув белой легкой тенью, в дверях.

— Зойка!..

Не слыхала. Ушла моя весна. А в комнате все еще витает ее белый призрак. Пахнет ландышем и сиренью. Пахнет ее золотыми волосами, ее легким платьем. Все еще звучит в ушах ее голос, стоит ее радостное, улыбающееся лицо... Эх, вот счастье: на моей постели ее василек от шляпки!.. Синенький!.. Миленький!.. Вот я тебя поцелую и положу к себе под подушку...

— Мама! Посмотри: она потеряла василек со шляпки...

— Ничего не бережете... Девушка будто ничего себе...

— Ничего себе... Сама Красота, а вы... много вы понимаете!..

— Довольно ласковая со старшими... А полковник в Казани мне наговорил на нее... Я уж так испугалась за тебя...

— Совершенно зря пугаетесь... Радоваться за меня должны, а не пугаться.

— Слава Богу!.. Только жениться-то доктор велит повременить.

— А ты рада этому!

Я почувствовал усталость, лег и вытянул ноги. Закрыв глаза и вспоминал, как все это было: как она вошла, не хотела на меня смотреть, потом

бросилась на колени перед кроватью... Синеглазая... Золотоволосая... Люблю! Больше жизни люблю тебя, Зойка! Теперь уж до завтра. Завтра надо поговорить обо всем. Сегодня не успели... Не скоро это «завтра»...

Гудит пароход на Волге. Когда-нибудь мы с Зойкой будем ехать на пароходе, вдвоем только в каюте. Ах, как я счастлив, я самый счастливый человек на свете...

Я прикрылся одеялом, перекрестился и прошептал:

— Благодарю, Господи...

— Ты что там колдуешь?

— Какое, мама, счастье жить на свете!.. Спасибо, что родила ты меня...

— Не стоит благодарности...

— Как не стоит. Что ты!..

Я отбросил одеяло и стал хохотать. Мать — тоже.

— Ну, подойди, мамочка, я поцелую тебя...

Мать подошла. Я стал ласкать ее голову, поцеловал в щеку. Отвыкла старенькая от теплой ласки, расплакалась...

— Вот тебе раз! О чем?..

— Спасибо тебе, Геничка... Ты такой ласковый... Бог пошлет тебе много-много счастья!..

— Да, мама, много-много... И я буду делиться им с тобою...

— Нет, зачем... У тебя своя жизнь... Только не забывай... И за то спасибо...

— Благословляешь нас с Зоей?..

— Да, конечно... Вы такие добрые, милые, молодые ребятки...

— Спасибо, мамочка!.. Спасибо! А теперь я немного усну... Устал что-то.

— Поспи. Много волновался.

Я замолк и долго слышал, как мать ходила на цыпочках, оберегая мой покой. Потом сладко и крепко заснул...

XXXVII

Каждый день я с жадным нетерпением жду, когда часы в больничном коридоре начнут бить одиннадцать. Зоя удивительно аккуратна: как только пробьет одиннадцатый удар, я сажусь к окну и устремляю свой взор на дорожку меж берез, ведущую к воротам больницы. Вот уже подкатили дрожки... Идет... идет моя белая пастушка с васильками и ромашками на шляпе. И всегда в руках цветы. Идет торопливым шагом и нетерпеливо смотрит на окна. Увидим друг друга — и оба, улыбаясь, киваем голова-

ми... Еще минута, и в коридоре проворно стучат чьи-то каблочки... Чьи? Конечно, ее, моей нетерпеливой пастушки!..

— Здравствуй!

— Здравствуй в белом сарафане из серебряной парчи!..

— Тебе кланяется.

— Кто, голубка?

— Солнце правды!..

Смеемся и ласкаем друг друга глазами. Мама уже не стесняет нас: и мы, и она привыкли, чувствуем себя почти родными. Мама не наглядится на нас, называет Зою Золотой Принцессой, целует ее и все удивляется, что волосы у нее настоящие. Теперь она в этом убедилась: сама расчесывала их и сплетала в косы, а я смотрел и завидовал... Дело окончательно решено: свадьба осенью. Меня доктора посылают на юг, а я упираюсь:

— Без тебя не поеду: разлюбишь, забудешь...

Нет, попалась, птичка, стой: не уйдешь из сети.

Не расстанемся с тобой ни за что на свете.

А Зоя, смеясь, поет, глядя мне в глаза любовно так и кокетливо:

Ах, зачем, зачем я вам, миленький дружок?

Отпустите погулять в садик на лужочек!..

Сегодня очень важный день: Зоя должна принести известие, чем кончилось ее нападение на приехавшего родителя: она должна была просить его отпустить ее в Крым на поправку. Можно бы и без согласия, да денег мало. Да и не хочется снова создать натянутые отношения, после того как все наладилось к нашему общему благополучию. Сегодня я жду Зою с особенным нетерпением...

— Либо пан, либо пропал!

Бьют часы. Скорей к окну: уже трещит извозчичья пролетка. Что-то она привезла? Идет и смотрит, и вся сияет. Посылает воздушный поцелуй.

— Ура, мама!.. И Зоя едет в Крым.

— А ты как это узнал?

— Идет она... По лицу узнал... Как солнце сияет!

Вбежала, бросила зонтик, швырнула ко мне на кровать перчатки и стала целовать маму.

— Позвольте, Зоя Сергеевна!.. Почему такое предпочтение?

— Поздравь: все уладилось!.. Хотя не совсем так, как мы хотели, но...

— А поцеловать надо или нет?.. «Поцелуев твоих нежных страстно жаждет он, страстно жаждет о-он»...

Подставила лицо, а занята чем-то другим. Обидно, сударыня. Я еще целую ее в щеку, а она уже говорит:

— Папа едет со мной... Одну не пускает. Хотя это безразлично...

Мама даже одобряет:

— И прекрасно делает ваш папа.

Погрозила нам пальцем.

— Что ты, мама?.. Зачем ты грозишь пальцем?

— С папой спокойнее будет обоим.

— Ты думаешь?

— Повенчайтесь, а тогда и одни можете... На все четыре стороны.

Переглядываемся с Зоей и хохочем над мамой.

— Ладно, смейтесь!..

— Знаешь, Зоя, я боюсь твоего папочки.

— Ты! Почему?

— Он напугал меня преосвященным... Пугал и губернатором, да нашел, что этого мало...

Рассказал все, как было. Я не думал, что это так расстроит Зою. Покраснела, рассердилась и стала сконфуженно оправдывать родителя:

— Конечно, он пошутил... Он только против гражданского брака, а так он ничего не имеет против нашей любви... Теперь он даже желает поскорей сделать свадьбу...

— Боится.

— Чего боится?

— Как бы без попа не обошлись. И в Крым он едет охранять твое целомудрие. Надоела опека. Она грязнит душу...

— Значит, не соглашаешься ехать с папой? Уверю, что он нам не помешает. Он очень хочет познакомиться с тобой.

— Само собой разумеется: надо же отцу хотя посмотреть, за кого он отдает свою дочь, — замечает мама.

— Перехватывают письма, а потом...

Меня разочаровал оборот дела, я ненавижу уже человека, который назвал вопль моей души «документом», и потому сердился на Зою и хотел сделать ей больно. И сделал:

— Жить под надзором полиции, а любить под надзором родителя... Очень трогательно и благо-разумно!..

Зоя отвернулась к окну и замолчала. В ее руках мелькнул белый платочек. Плачет потихоньку. Обидел. За что? Никогда еще не случилось этого. Не понимаю, что со мной сделалось.

— Ну, вот и поругались! — со вздохом сказала мама. — Эх вы, ребята! Вам бы еще расти да учиться, а вы — жениться.

— Зоя, никак ты рассердилась на меня?.. Ну, прости... Я так, сам не знаю...

— Нет... Не сержусь... Мне грустно... Не знаю, почему... Мне хотелось бы всех любить, со всеми жить в мире и только радоваться. Нельзя этого сделать. Папа виноват перед тобою, но ведь он старик, у него свои понятия... И теперь он примирился со всем и уже хочет... любить тебя... А ты жестокий.

Оттирает платком слезы, вздыхает и неподвижно смотрит в окно.

— Зоя!..

— Что, голубчик?

— Прости меня!..

— А вы простите его, а то ему вредно волноваться-то! — жалобно попросила мама.

Зоя расхохоталась, обернулась и вдруг обхватила шею мамы руками и стала смеяться, плакать и целовать растерявшуюся старушку, для которой была еще так недавно только «особой».

Простила. Какая мягкая, добрая душа! Золотое сердечко. Ну что ж, ничего не поделаешь. До осени придется мириться и путаться в компромиссах. Зато после, когда опека кончится, я вырву тебя из этой мещанской среды и поведу тебя по новой дороге, к новой жизни, к борьбе за эту новую жизнь. И когда ты сделаешься вполне «сознательной личностью», о которой пишет Миртов в своих «Письмах», — ты сама поймешь, что и родные по крови могут быть нашими врагами.

В первый раз мне разрешили погулять в большом саду. Когда мы с Зоей вышли из больницы на двор, направляясь к саду, я задохнулся от радости, потому что впервые еще со дня ареста почувствовал настоящую свободу. Ликующий весенний день, полный яркого света, птичьего гомона и разнообразных звуков и шумов жизни, долетавших сюда с Волги и из города, переполнил мою душу радостью бытия, а ничем не стесняемая близость любимой девушки в светлой радостной одежде напитала душу таким счастьем, что становилось трудно дышать и говорить.

— Побежим, — шепнула Зоя и побежала на обрыв сада, выходящий на Волгу.

Не могу бежать: больно в сердце.

— Погоди, Зоя...

— Ау!

— Иду, иду, голубка...

Господи, как хорошо! Ширь и гладь и Божья благодать:

— Здравствуй, красавица Волга! Могучая река! Как широко! Как просторно!

Под горами сверкает зеркало водяных равнин, разлившихся по лугам вплоть до далекого синего леса. Бегут в туманную голубоватую даль горы и растворяются в прозрачной дымке весенних фиамов земли, возносимых ею к голубому безоблачному небу. Курится вдали дымок парохода, убежавшего вниз, к синему морю. Лениво тянутся плоты с игрушечными домиками, с игрушечными человечками в ярко-красных кумачовых рубашках. Белье чайки, как комья чистого снега, кувьркаются над водой. Где-то далеко и глухо стучат о воду пароходные колеса; кажется, что невидимый пароход боится опоздать и беспокоится: тревога слышится в шуме его колес. Ах, счастливые чайки! Как я завидую вам. Так хотелось бы схватить в охапку Зою и полететь с ней над водяной равниной вон туда, в синий туман, где пропадают горы и остается только золотисто-голубая дымка неведомой страны...

Сидим с Зоей рядышком на лавочке, прижались друг к другу и молчим. Нельзя говорить, когда душа тонет в счастье. Не знаю, сколько времени мы сидели молча: не было времени, оно остановилось... Но вот Зоя глубоко вздохнула и прошептала:

— Любишь?

Я с укоризной посмотрел ей в глаза, и она прошептала:

— Прости... Больше не буду...

Обернулась, сорвала с куста зеленый листок и, приложив его к губам, щелкнула. А я сорвал зеленый стручок с акации и сделал из него свистульку. Шалим, как ребята, а сами переглядываемся и что-то говорим друг другу глазами.

— Пойдем!.. Пройдемся...

— Пойдем.

Идем под руку в самый дальний угол сада и не останавливаемся, когда обрывается дорожка. Бьется сердце, ждет чего-то. Зоя потихоньку напевает какую-то песенку. Оглянулась и потупилась.

— Куда мы зашли... Дальше нельзя... Обрыв.

— Да.

Я тоже оглянулся: глушь, зелень, тайна.

— Ах, Зойка... как хорошо!..

Переглянулись и обнялись. Я целую ее щеки, волосы, руки и не хочу ее выпустить, а она все беспокоится и пугает:

— Идут, идут...

— Ой, опять колет в сердце...

— Вот видишь!.. Не надо это делать... Вредно. Пойдем назад...

Снова уселась на лавочке и стала говорить о своей будущей жизни. Они с папой поедут в Крым послезавтра, а я через неделю: раньше доктор не захочет выпускать из больницы. Зоя даст телеграмму, где они остановятся. Лучше, если бы я познакомился с папой; прямо заявился бы в номера и сказал: я — жених Зои Сергеевны. Каждый день будем гулять, иногда с папой, а иногда без папы. Зоя уверена, что папа, как только увидит меня, так сейчас же и полюбит. Меня нельзя не полюбить. Очень уж я хороший. А может быть, папа еще обоих нас пригласит в Ниццу: он сперва звал Зою в Ниццу, а потом согласился в Крым.

— А хорошо бы нам с тобой побывать в Ницце!

Я вспомнил Калерию, которая когда-то дала мне адрес: «В Ниццу, до востребования», испугался, покраснел и, потупившись, сказал:

— Не стоит в Ниццу...

— Почему?.. Что с тобой! Почему ты покраснел?

Померк ликующий день, погас яркий свет, пропал простор родимой Волги, потускнела золотисто-голубая дымка, и пропала в душе радость бытия и счастья. Хотелось провалиться сквозь землю, не существовать на свете. А Зоя, взяв меня под руку, заглядывает в лицо и тревожно спрашивает:

— Геня! Геня!.. Да что с тобой, милый? Что ты молчишь?

Я закрыл пылающее стыдом лицо и сказал:

— Я должен тебе покаяться в... Как мне скверно, Зоя!..

— Что, что, голубчик!.. Бог с тобой!.. Ты меня пугаешь...

— Не могу...

— Что случилось?.. Ну, скажи, ведь я — не чужая тебе...

— Ты меня... разлюбишь...

— Да нет же, нет!.. Никогда! Ни за что!

— Помнишь... однажды я сказал тебе, что я — гадкий, грязный, а ты...

— Неправда. Ты — хороший. Ты — чистый...

— Нет, Зоя... Я не знаю, как сказать тебе правду... Я не только боюсь за себя, но... Я боюсь своим признанием оскорбить твою чистоту...

— Какие страшные вещи говоришь ты!.. Не понимаю. Можно подумать, что...

Мы замолчали. Я сидел как приговоренный к казни, доживающий последние минуты жизни. В голове кружились и путались мысли, воспоминания о светлой, неомраченной любви, о том, как мы с Зоей познакомились и как занимались алгеброй. Как тогда было ясно, про-

зрачно на душе! Пропала светлая, беспечная радость... В памяти рождается грозовая ночь, красная занавеска, тревожные зарницы молний, под которыми вспыхивают розовым отблеском черные бесстыжие глаза и разметавшиеся по траве черные волосы...

— Ну, посмотри на меня... Иначе я... Геннадий! Слышишь? Я заплачу...

И заплакала тихо, беззвучно.

— Ты — странный... Ты... не сильно любишь меня... Все пугаешь. Ты хочешь напугать чем-то нашу любовь и... оборвать ее... Да? Скажи прямо! Да?

— Нет. Видишь ли, Зоя... Я долго обманывал тебя и больше не могу...

И тихо, не поднимая головы, я стал, запинаясь и путаясь, рассказывать бедной Зое всю правду, смягчая ее, насколько было можно и насколько умел это сделать. Рассказал. Тихо-тихо. Поют птицы, гудит где-то пароход, где-то поют грузчики: «Вот нейдет — да вот пойдет», ласково плескивает река, о чем-то перешептываясь с берегом. Поборол стыд и страх: взглянул в сторону Зои. Сидит неподвижно, как изваяние из мрамора, и полными слез глазами смотрит неподвижно в золотисто-голубую дымку волжских туманов. Застыла. Только губы вздрагивают мелкой дрожью, и тяжелые капли слез тяжело падают и катятся по щекам.

— Ты больше не любишь меня, Зоя...

— Тише... Молчи... А то заплачу...

Опять долгое, как вечность, молчание. Глубокий одинокий вздох.

— Можешь простить или... нет?... Зоя!

— Погоди... Не знаю... Сейчас мне больно... Потом... Я приду...

Встала и тихо, с опущенной головой, пошла из сада.

— Напиши мне! Если не можешь простить, напиши прямо...

Зоя, не оборачиваясь, кивнула головой и скоро пропала в зелени сада, а я так и остался на скамейке. Не смел пойти за нею.

Мне было так скверно и так больно, что хотелось разом кончить все страдания: подбежать к обрыву и прыгнуть в Волгу. Я подошел к обрыву и стал смотреть вниз. Притягивает спокойная гладь реки: должно быть, там, в глубинах родной реки, так тихо и так спокойно... Шагнул ближе, из-под ног посыпались вниз камешки и песок. Вздрыгнул и отпрянул. А потом почти побежал из сада с криком:

— Зоя! Зоя!.. Погоди!.. Я должен видеть тебя в последний раз...

— Ну-с, молодой человек, придется полежать.

— Не могу я, доктор, больше лежать.

— Рано пташечка запела — как бы кошечка не съела, молодой человек...

— Я должен ехать... В Крыму я поправлюсь скорее. Вы обещали через неделю, а теперь идет уже вторая... Я не могу, доктор.

Мама качает головой и жалуется:

— Вы не велели сидеть на сквозном ветру, а он не отходит от окна.

— Закрывайте!

— Открывает. Он уже уложился.

— Рано. Плохо кушаете, молодой человек.

Ах, вы! Слепые, близорукие люди. Вы думаете, что чем больше я буду кушать, тем счастливее буду в жизни? Болит душа, душа болит, а вы... Вот уже скоро неделя, как уехала Зоя, а телеграммы нет. Оставила письмо и уехала.

«Я не могу сказать тебе сейчас, прощаю ли. Не знаю, сама не знаю. Сегодня мы с папой уезжаем в Крым. Дай мне подумать, переболеть душой. Я тебе телеграфирую искренно. Должно быть, прощаю, но больно мне, невыносимо больно, и я боюсь обмануться. Зоя».

Нет телеграммы. Сажу у окна и смотрю на дорожку к воротам: каждый день дожидаясь, когда появится почтальон или телеграфист. Каждый день ожидание мучительнее и каждый день — разочарование; приносят и письма, и телеграммы, но не мне. Ах, Зоя, что ты со мной делаешь? Зачем мне выздоровление и жизнь, если... Но ты должна сказать. Ты не вправе так мучить, если даже... если даже больше не любишь! А если ты так долго колеблешься, значит — не любишь. Не любишь, нет, не любишь!.. Но тогда зачем мне ехать в Крым! Никуда не надо ехать. Никуда!..

— Отойти от окна.

— Ах, оставь меня, мама!.. Не все ли равно?... Не сегодня, так завтра...

— Что «не сегодня, так завтра»?

— Умирать.

— Вот тебе раз! То — жениться, то — умирать. Не поймешь вас.

— Наша жизнь, мама, только крохотный кусочек, одно мгновение в вечности. Если посмотреть на тысячи лет, которые прошли до появления на свет, и на тысячи, а может быть, и миллионы лет, которые пройдут после нашей смерти, так не стоит и думать о жизни...

— Чепуха какая!

— Сегодня есть, а завтра тебя нет. И ничто не изменится с твоим исчезновением. Все так же бу-

дет день, и будет ночь, зима и весна, радость и горе...

— А ты хотел бы, чтобы после нас ничего не было?

— Мне все равно... Суета сует, мама. И так же люди будут говорить, что любят и никогда не разлюбят, а сами...

— Вон телеграфист идет.

— Где? Да, да!..

— Куда же ты побежал?.. Ах, наказание Божие!

Я выбежал в коридор, потом на лестницу. Стою, свесив голову в пролет лестницы, жду и прислушиваюсь, что делается в конторе больницы. Мешают проклятые часы: стучат, словно рубят дрова. Стукнула дверь. Кто-то идет. Куда? Наверх!..

— Сестрица, вы что несете?..

— Телеграмма... вам!

— Мне!

— Вам. Вот извольте...

— Спасибо, спасибо! Вы такая милая...

Сестрица вскинула на меня удивленные взоры и, повернувшись, пошла обратно, а я зажал в руке телеграмму и побежал в свою палату.

— Мама! Телеграмма.

Смотрю на телеграмму и боюсь ее распечатать: ведь там — моя судьба, моя жизнь. Трясутся руки, и замирает сердце. Опять трудно дышать.

— Мама!.. Распечатай телеграмму и сперва посмотри, откуда и от кого, но не говори содержания.

— Что за фокусы? Ну, давай!.. «Распечатай», а сам не дает.

— На! Сперва откуда?

— Из Ялты. От Зои.

— Знаю, знаю!.. погоди, ничего не говори.

— Что ты дуришь, Геннадий!

— Скажи, как подписана.

— «Твоя Зоя».

— Не может быть!.. Ты лжешь, мама...

— Ей-богу, «твоя»! На, читай сам! «Прощаю, люблю, жду. Твоя Зоя».

— Мама! Я спасен! Мама, мама... милая, родимая старушка!..

— Да погоди ты, сумасшедший!.. Я упаду, оставь меня, Генька! Что ты, словно сбесился...

— Сбесился, мамочка... Ей-богу, сбесился!.. Зойка! Зойка! Милая, добрая Зойка!

— Ничего не понимаю...

— И не надо, мамочка. Завтра я еду, еду, еду...

— погоди, что скажет доктор...

— Не желаю. Не слушаю. Ничего знать не хочу!

Еду, еду, еду...

И я громко запел:

Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня...

— Не ори! Здесь больница.

Синеокою девицу, черногривого коня...

— Не ори, тебе говорят!

— Ничего, мамочка...

Я красавицу младую прежде сладко поцелую...

— Не пойте. Здесь неудобно.

— Простите, милая сестрица. Не буду... Ей-богу, не буду!..

— Допелся... Говорила тебе... Точно гимнизист... А еще жениться...

— Ничего, мамуся... Я — шепотом... Я красавицу младую прежде сладко поцелую, на коня потом вскочу, в степь, как ветер, полечу...

— Расскался...

— А где, мама, корзинка с теми вещами, которые тебе отдали в жандармском управлении?..

— В конторе. Сюда не позволили.

— Экая досада! Надо бы кое-что взять с собой. Завтра я еду. Это решено и подписано. Может быть, ты со мной... Все равно уж: там есть один родитель, будет еще одна родительница.

— Ты знаешь, что мне нельзя. Я и без того не знаю, как там без меня... Тетки хворают, кругом обворовывают, приказчик запил.

На вечернем обходе долго торговался с доктором. Уперся: раньше, как через три дня, не пускает. Что такое три дня? Просто придирка, упрямство, желание покуражиться. Ну, черт с тобой, бери у меня эти три дня, пей мою кровь и мое счастье! Слава тебе Господи... Слава долготерпению твоему, Господи, слава...

— Значит, не едешь со мной?

— Да нельзя, Геня... И денег в обрез... Как я жалею, что отправила Калерии тысячу-то! Потом уж рассчитались бы. Осенью она собирается к нам погостить...

— К нам? С какой стати?

— И опять с ребенком притащится, помяни мое слово.

— С какой стати! Ты же потом будешь сердиться и каяться, что...

— Неудобно: дала денег на твой выкуп и пишет, что горит нетерпением повидать политического преступника... Никогда, говорит, не случалось их видеть.

— Подлая!

— Ну уж это, Геннадий Николаевич, нехорошо и неблагодарно... Пусть поживет... Она думает, что ты по-прежнему будешь бегать за ее хвостом...

— Я видеть ее не хочу. Я ее ненавижу всеми фибрами души...

— А тогда горой стоял... Чуть на мать с ружьем не полез... Эх ты!

— Она меня одурманила... Опоила зельем каким-то... А теперь прошло. Теперь я ее, поганую, из ружья убью... гадину!

— Перестань! Постыдись! Побойся Бога-то...

— Так и знайте: либо она, либо мы с Зоей. Мы одного часа не пробудем, если заявится Калерия... А впрочем, я забыл: осенью я буду гарантирован от этого свидания: опять в тюремное заведение для полного окончания курса... Наплевать! Мы проживем в Крыму до сентября, а там видно будет.

— Пишет, что тоскует... Не нахожу, говорит, места. Мыкается по границам. С ребеночком-то! Ему всего около трех месяцев, а она его уж чуть не всей Европе показала. А теперь хочет показать ему свое отечество. И смешно, и жалко. Кукушка! Хорошо, что вовремя тогда мы ее спровадили, а то закружила бы тебя около своей юбки. Опять сошлась с мужем. Сперва бросила, а потом опять... Несчастливая какая-то.

— Ну, будет, мама! Я не желаю ничего знать про нее и... замолчи!

Перекладывая в десятый раз вещи, собранные в дорогу, я вытащил из альбома портрет Калерии. Взглянул, вздрогнул от бесстыжих глаз и бесстыжих губ, которые смотрели и целовали меня, и швырнул портрет на стол к маме.

— На, возьми твою прекрасную Калерию. Мне она не нужна.



Мать взяла портрет и стала рассматривать. Вздыхнула.

— А есть в ней цыганская кровь. Красивая бродяга, ей-богу! Вот ведь и деньги, и красота, и все что угодно, а счастья нет. Возьму себе. Нехорошо бросать подаренные карточки. Карточка не виновата.

На другой день мы с мамой ходили по магазинам: покупали мне новое летнее пальто, шляпу, палку, перчатки и легкую летнюю пару, белье, чемодан, ботинки. Это отняло весь день и сократило время ожидания. На третий день тоже было немало хлопот: ходил в цирюльню подстричься, мылся в ванне, еще раз укладывался. Мама ушла в церковь отслужить напутственный молебен, а я, чистый и подстриженный, воспользовался одиночеством: захотел посмотреть, каков я буду видом, если надену новую пару. Облекшись в новое белье, я надел новую светлую пару и новые ботинки с пуговицами, накрыл голову новой шляпой и посмотрелся в зеркало:

— Ничего, недурен мужчина!.. А ну-ка, в пору ли пальто?..

Надел и пальто, а кстати взял из угла и новую палку. Опять подошел к зеркалу.

— Ей-богу, я очень и очень недурен!

Стал прохаживаться по комнате и мимоходом заглядывать в зеркало; помахиваю палкой и раскланиваюсь с кем-то. С кем? Ну конечно, с Зоей! С кем же больше мне раскланиваться? Воображаю, как ахнет мой белый голубок при виде такого франта. А крахмаленой рубашки не надеву, фантази с «желябовским галстуком» придает более поэтический вид.

— Эге, вы уж, кажется, на «венец» собрались!

— Я... Я... Нет, доктор, я, собственно, пройлись маленько.

— Теперь другое дело. Теперь жених, как следует. А ваша матушка?

— Н... Не знаю. За покупками пошла.

Почему я не сказал, что она ушла в церковь? Как это глупо: стыдиться, что мать пошла молиться Богу за мой благополучный отъезд... Ведь я же верю в Бога... В Бога... Мм... не знаю. Не особенно что-то... Сходил в сад, поглядел на Волгу, послушал, как призывно гудят свистки пароходов на городских пристанях, словно зовут меня поскорее сесть и уехать вон туда, в голубую дымку сказочного царства, где царствует моя нареченная Принцесса. Ах, какая смешная: «Желаю, чтобы на нашей свадьбе непременно пел хор певчих». Ну, скажите, пожалуйста, разве это не чепуха! Ну

не эта ли равно: с певчими или без певчих? Чудачка эта Зойка, ей-богу! Много в ней еще предрасудков.

Пришла мать. Глаза красные.

— Ты что, мама... плакала?

— Да, Генечка, немного поплакала.

— О чем, старушка?

— Так, грустно что-то стало. Уедешь, и останусь одна. Дай тебе Бог счастья... Отца-то нет, не дожил! Я уж заодно панихидку по нему отслужила, в одной церкви — молебен, а в другой — панихидку. А ты уж наряйся!

— Примеряю.

— Вот даже приятно посмотреть. Вырос ты, совсем взрослым глядишь. Ну, и мне собираться надо в дорогу. До Самары вместе, а там...

Мать постояла среди комнаты с опущенными руками, потом стала суетиться и бегать то в контору, то в докторскую; звенела деньгами, отвернувшись в уголок лицом, охала и опять куда-то скрывалась.

— Телеграмма тебе.

— Давай скорей!

«Остановилась в Гранд-отеле, жду, тоскую, телеграфирую выезде. Зоя».

— От Зои?

— Да! Тоскует очень, невыносимо тоскует, не может больше ждать...

— Завтра поедем. Не умрет.

— Все, мамочка, возможно!.. Надо успокоить.

Сажусь к столу, тороплюсь, перо старое, ржавое; злюсь на больничные порядки, делаю кляксы, рву бумагу, капнул на новый пиджак...

«Ялта. Экстренная. Завтра выезжаю, успокойся. Твой Геннадий».

Выбегаю за ворота, отчаянно кричу извозчика.

— На телеграф!

А на телеграфе опять недоразумение:

— Кому?

— А вам какое дело?

— В таком случае не принимаем.

— Не имеете права...

Шум и крик, с обеих сторон угрозы. Вмешивается какой-то господин и кротко заискивающе объясняет, в чем дело:

— Вы написали: в Ялту, а кому — неизвестно.

— Ах вот в чем дело!.. Ведь я не понял... В таком случае извините.

— Подождите, потрудитесь встать в очередь!

Все на меня смотрят, одни — со злобой, другие — с усмешечкой. Так бы и растерзал телеграфиста, да он — за решеткой. И вот этого, толстого!..

— У меня телеграмма экстренная.

— А уж это, господин, не наше дело. Я тоже жду, у меня там жена помирает. Кабы деньги были, так и я послал бы экстренную.

Жена помирает, а он, прохвост, торгуется из-за пятака, не соглашаясь, что «не задержусь» пишется в два слова. Только время ведет.

— Напишите «не замедлю», — советует рядом стоящая барыня.

— Не замедлю — тоже два слова.

— У вас все — два слова!

— Не я грамматику сочинял.

— Ну, нате еще пятак... Вас не переспоришь...

— Экстренная! У кого экстренная?

С гордостью пролезаю вперед.

Только сдавши телеграмму, чувствую, что теперь все устроено. Куда бы сходить? Некуда. Брожу по улицам, помахиваю палкой и тихо напеваю:

— Тра-там, тарам, та-та...

Увидал выставку фотографии, стал рассматривать обывательские физиономии.

— А что, не сняться ли?

Зашел и зачем-то снялся в анфас и в профиль, в шляпе и без шляпы, в пальто и без пальто. Дал три рубля задатку. А когда вышел из фотографии, то подумал: «Ну, кой черт я снимался, когда завтра уеду и неизвестно, когда вернусь! Ну, наплевать, пусть пропадает моя трешница...»

Попадались навстречу барышни, но совершенно не интересовали меня; раньше бросил бы милостивый взгляд, заметил бы, которая красивее, может быть, поправил бы шляпу на своей голове. Теперь — просто не существуют. Ни на минуту не перестаю чувствовать, что вся моя жизнь отдана безраздельно и бесповоротно одной, далекой, лучшей в мире девушке, перед которой я глубоко виноват. Тоже косы у одной из трех большие, но перед Зоиными косами они ничего не стоят. Одна сделала «глазки». Ах, скверная девчонка! Ведь, наверное, воображает, что краше всех на свете. Какое, подумаешь, самомнение! Напрасно, милостивая государыня, стараетесь: неуязвим! Не оглядывайтесь: застрахован!

Вернулся в больницу и застал маму в слезах.

— Что такое, мама?

— На, прочитай!

Взял телеграмму: «Тетя Маша сейчас скончалась. Тетя Саша».

Бедная тетя Маша: всю жизнь ждала, что придет какой-то благородный рыцарь и похитит ее из старого дома, берегла для него целомудрие, гадала на святках с зеркалом — каждый год выходило, что рыцарь близко... Вот он, рыцарь, пришел и похитил тетю Машу!.. Черный рыцарь...

— Ведь ей всего сорок два! — всхлипывая, шептала мама...

А мне было не жалко тетю Машу. Мама плакала, а я думал о том, что завтра я поеду к своей невесте, и, отвернувшись к окну, я радостно улыбался и мысленно говорил: «Зойка, Зойка!.. Какая ты красивая, милая, добрая...»

— Надо опять идти — отслужить панихиду по тете Маше. Пойдем!

— Пойдемте.

Не хотелось идти, но нельзя: обидишь маму. Пошел, стоял с понурой головой, с восковой свечой в пуке. Священник жалобно вытягивал:

— Еще молимся о упокоении души усопшей рабы Твоей Марии, и о еже простится ей всякому прегрешению, вольному же и невольному!

А я слушал, как за раскрытым окном храма на ограде пели птицы и как на Волге гудел пароход; крестился, а сам думал о том, как встречу Зою и буду целовать ей руки, глаза, губы, волосы... Золотые волосы, похожие на солнечные лучи, золотым столбом падающие из-под свода купола в холодный полумрак церкви!..

XXXIX

«Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах», — стучит, гремит и, как птица, несется под уклон скорый поезд, позванивает, полязгивает сцепами и плавно покачивается на закруглениях. Я стою у раскрытого окна и подставляю встречному ветру лицо. Треплет ветер волосы, рвет с головы широкополую шляпу; бегут мимо столбы с проволоками и белыми фарфоровыми чашечками; как бесконечная лента, разворачивается желтый откос железнодорожной насыпи, и пугают встречные поезда птицы, вихрем проносящиеся в глазах; зеленеют луга, сверкают серебристыми ленточками луговые речки, уплывают назад кучки белых домиков-мазанок с вишневыми и желтыми подсолнухами; мелькают на переездах пузатые бабы в повойниках с зелеными флагами в руках; иногда гонятся с лаем злые собаки... А поезд летит, как птица, и визгливо кричит:

— Эй, эй, берегись!

Неизъяснимую благодарность чувствую я к поезду: он мчит меня на благодатный юг, в неведомый еще для меня край, туда, где и днем и ночью ждет меня прекрасная Принцесса...

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...

Спасибо тебе, милый поезд, спасибо тому, давно сгнившему человеку, который придумал эту чудную птицу: на ней можно, как на ковре-са-

молете или на Коньке-Горбунке, в три дня перелететь с севера на юг моей милой, необъятной отчизны...

По целым часам стою у окна вагона, и на моих глазах совершается чудо превращения севера в юг. Вместо грустных плакучих берез и угрюмых сосен все чаще возносятся к небесам пирамидальные тополи, вместо низкорослых пропыленных желтых акаций — высокие ажурные белые, вместо печальных подслеповатых изб — белые мазанки с вишневниками и желтыми подсолнухами, вместо красивых лошадок лениво ползут рогатые быки... Появляются на крышах длинноногие аисты... А наши задумчивые меланхолические ночи, с грустно мерцающими в далеких небесах звездами, сменяются темными, почти черными ночами, с небесами из темно-синего бархата, смотрящими на землю огромными удивленными глазами бесчисленных моргающих звезд.

Ах, эти черные ночи с огромными любопытными глазами-звездами, с горячим дыханием ласкового ветерка, с трепетными вздрагиваниями приветливых и таинственных огоньков в скрытых темнотой жилищах, с пряным ароматом полей и садов! Кружится от них голова, и мерещатся горящие во мраке глаза, шепот и поцелуи... Скорей! Скорей, поезди!..

— Трах, тарарах, тах-тах, тах-тах...

Свистки, остановки, суетня и говор. Опять свистки, рожок стрелочника, вздох паровоза, толчок и снова:

— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...

Буфет, беготня, звон посуды, ножей, тарелок, жадное и торопливое пожирание пищи и снова:

— Трах, тарарах, тах-тах-тах-тах...

— Севастополь.

— Как, уже Севастополь?..

Ослепительное солнце, смеющиеся дома, распаренные люди, белые костюмы, белые извозчики, бронзовые лица, запах роз, акаций, апельсинов, лимонов, а во рту — соленая пыль... Так вот он, знаменитый город, о котором слышал еще в далеком детстве! Тихий и радостный, даже ленивый. А когда-то здесь рекою лилась человеческая кровь, и люди, как разъяренные дикие звери, катались на земле в предсмертных схватках. Даже не верится. Надо бы посмотреть исторические достопримечательности этого города, да что-то не хочется. Теперь мною владеет только одна достопримечательность в мире: она находится в Ялте и зовут ее Зояй...

— Зоя! Скоро, скоро...

Морской пароход. Заревела сирена, заклокотал черный дым над трубой, забежали по бортам

матросы, и медленно поплыл огромный дом из суетливой бухты в спокойной-величавое, голубое и зеленое море... Бегаю по палубе, по каютам и лестницам: не нахожу места от нетерпеливой радости, которая клокочет в груди, от изумрудного моря, в манящих пенящихся глубинах которого за кормой кувыркаются игривые дельфины, от влажного солончатого воздуха морских равнин, от размашистого плавного баюканья коварной волны, а всего больше от близкой встречи с белым ангелом моей души...

Какой симпатичный капитан! И какие все милые пассажиры: точно родные. Заботятся и помогают:

— Съешьте кусок лимона!

— А всего лучше выпейте рюмку коньяку. А скверно?

— Нет, только немного кружится голова.

— Не смотрите на воду!

— Не могу: тянет меня эта зеленая прозрачная пропасть...

— Вы бледнеете. Лучше бы пошли в каюту да и залегли.

— Да, пожалуй, лучше лечь.

.....

— Ялта! Видно Ялту...

— Кто это сказал про Ялту?

Сразу очнулся, и все прошло. А было так скверно, что желал поскорее умереть и просил кого-то сбросить меня в море. Спасибо, что не бросили!..

Качки нет, а меня покачивает из стороны в сторону. Придерживаясь, как пьяный, за перила, поднимаюсь по лестнице на палубу и застываю в восхищенном изумлении...

Темно-синяя ночь, огромные звезды на небе, фосфорические огни в морских хлябях и рой золотых пчел в изгибе темнеющих гор...

— Это что там в горах?

— Ялта...

Ялта, Ялта!.. Точно Господь собрал с бархатных небес много-много лишних звезд и бросил их на землю, в горы, на берег моря...

Как сказка, волшебная, несбыточная сказка... Дрожат огни на небе, в море и на горах... Прекрасны огни неба, но меня больше привлекают огни земли. Там, среди этих огней, есть один, который мигает мне... Я хочу отыскать его... Красавица Ялта, не гордись своей красотой: в одном из твоих сокрытых синими сумерками ночи жилищ скрывается Принцесса, моя Принцесса!.. Она прекраснее тебя. Она — моя невеста. Ее зовут — Зоя. Огни ее глаз ярче твоих, потому что в них — земля и небо, солнце и

звезды, в них счастье, огромное, безграничное,
как это черное, сверкающее таинственными сия-
ниями море!..

Ревет морская сирена, кричит в горы:
— Зоя! Я приехал...

Окончание следует.

Ялта съ юго-западной стороны. Крымъ.

